



# ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

## 100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

### А. М. РЕМИЗОВА

АНДРЕЙ СЕДЫХ

Раннее парижское утро. Звонок у дверей. Кто бы это мог быть, в 7 часов?

Встаю с постели, открываю. Почтальон протягивает «пневматичку». В конверте листок, разрисованный Ремизовым:

«День Св. Африкана, четверг 26 марта. Готовлюсь переплыть Ламанш: съел 5 фунтов мяса и 40 яиц».

Что на это скажешь? Ремизов всю жизнь любил мистифицировать, вечно что-нибудь придумывал. Иногда присылал мне для «Календаря Писателя» материал о несуществующих поэтах и книгоиздательствах: а вдруг напечатает? Иногда печатали. Пришла однажды невинная по виду заметка: «Переехавшая на постоянное жительство в Париж поэтесса Марина Цветаева становится во главе ежемесеяного журнала «Шипцы». Журнал будет посвящен, главным образом, печатанию стихов, но в первом номере появится новая повесть Ф. Степуна «Утопленник».

На следующий день — яростное письмо от Марины Цветаевой, — письмо это до сих пор хранится у меня: никакого журнала «Шипцы» она издавать не собирается, Степуна повесть «Утопленник» не написал, — все это злобедная шутка, игра с ее именем.

Пришлось ехать к Цветаевой с извинениями. Жила она очень далеко, почти за городом. Сидела в сумерки на диване, много курила, смотрела в окно: туман, темные заводские корпуса, фабричные трубы... Она была совсем молода: шапка золотистых, выходящих волос, зеленые рюсачки глаза и платье, — должно быть подобранное к глазам, тоже зеленое, только тоном темнее. На Ремизова не сердилась, отослала. Говорила о том, что в современную Россию не вернется — никогда. И вернулась: для того, чтобы повеситься на водосточной трубе.

На прощание сказала: — Знаете, что я больше всего люблю в Париже? Старухи. На нашей улице есть удивительные старухи, в теплых, вязанных пелеринах. Хорошие, древние старухи.

Рукопожатие ее было крепкое, почти мужское. Засмеялась:

— Это меня Макс Волошин научил, так крепко руку пожимать. Я до Макса подавал руку как-то безразлично — механически, сбоку... Он сказал: «Почему Вы руку подаете так, словно подбрасываете мертвого младенца?» Я возмутилась. Он сказал, что нужно прижимать ладонь к ладони, крепко, потому что ладонь — жизнь. Вы знали Макса. Вот Вам привет от него — рукопожатие...

На обратном пути побывал я у Ремизова, — он все же немного беспокоился. Узнав, что гроза прошла, Алексей Михайлович просиял, — лицо его от улыбки становилось необыкновенно добрым, — и начал привычным жестом приглаживать на голове два непокорных пучка волос. Были они похожи на рожки чертенка.

Жил он в это время на рю Буало, № 7. Дом и его обитателей тщательно и неумолимо описывал в своих книгах. На дверях квартиры, к великому негодованию консьержки, привесил обезьяний хвостик. К хвосту было привязано одно су с дырочкой. Обезьяну звали «Медведкиной».

— Пусть себе висит, счастье приносит, — говорил улыбаясь Ремизов. — И мне удобно: как увижу хвостик, так и знаю, моя квартира, и уж тогда не ошибусь.

Как-то хвостик сорвали, — мальчишки, а может быть и человек, доставлявший молоко. Ремизов погоревал, потом раздобыл новый и снова повесил. И после обстоятельно опи-

вал в газете, какая беда его постигла.

Хвост этот, по существу, был неким символом в жизни Ремизова, это была та граница, за которой обрывался реальный мир и начиналось некое театральное действо, которое так любил Алексей Михайлович, и которое постепенно стало его второй натурой. Возьму для иллюстрации случай, который описывает в своей книге о Ремизове Наталья Кожрынская\*. Ремизову нужно было пойти в полицейскую префектуру и подать прошение о возобновлении «карт д-идантитэ», — права на жительство в Париже. «В то время в префектуре приходилось простоять в очереди на сами, иногда и по два дня. Когда Алексей Михайлович собрался пойти, было очень холодно, и он оделся не совсем обычно: поверх пальто закутался в длинную красную женскую шаль, перевязав ее на груди, как это делают бабы, крест на крест; на голову надел еще вывезенную из России странной формы высокую суконовую шапку, опушенную мехом. Сгорбленный, маленький, в очках, с лохматыми, торчашими вверх бровями, в невероятно больших калошах, зашагал в префектуру. В руках нес прошение, распитое им самим и разукрашенное разными заставками и закорючками: без сомнения, самый удивительный документ, когда-либо поданный в парижскую префектуру.

При виде такого необычайно го посетителя ряды разомкнулись и Ремизов без задержки прошел в здание. Чиновники, конечно, тоже сразу обратили внимание на него и на его прошение, один подошел к нему в очереди. Алексей Михайлович потом, поспеваясь, рассказывал: «Чиновник оказался большим любителем «каллиграфии»



СОБРАНИЕ АНДРЕЯ СЕДЫХ. Архив Иельского университета

и пришел в восторг от моего прошения». Оно обошло всю префектуру, и Алексей Михайлович тут же, без проволочки, получил свое удостоверение, что обычно так легко не делалось.

Жили мы в Париже по соседству. Он на Рю Буало, а я сейчас же за церковью Микель Анж, — по-ремизовски Микель Архангела. Минута-две ходьбы. В квартире Ремизова с незапамятных времен помещалась Обезьяня Великая и

Рольная Палата — в сокращении Обезволтал, пожизненным президентом и великим мастером которой состоял Алексей Михайлович... Есть у меня великолепный диплом в две краски, написанный знаменитой ремизовской вязью с закорючками и выкрутасами: жалуетесь на обезьяню грамота, весенний именной ярлык Андрею Седых в знак введения его в кавалеры обезьяньего знака 1-ой степени с каштановым цветком. И на грамоте распечатался собственноручно царь обезьяний Асыка, а скрепил канцелярист Обезволтала Алексей Ремизов.

Это был единственный орден, полученный мной в жизни. Иногда я приходил к Ремизову поглядеть, как он живет, поговорить о книгах. Президент Великой и Вольной Палаты неизменно сидел за столом в вязаной бабьей кашавейке, по верх которой он надевал еще разные «шкурюрю». На голове — вышитая золотом татарская тюбетейка, на ногах — пед, — ему всегда было очень холодно. Смотрел внимательно через толстые стекла очков, приглядывая на голове рожки, пучки черных волос.

Жил он и работал в «кукушкиной» комнате, названной так потому, что на стене висели часы с кукушкой, а чай мы ходили пить на кухню. Здесь восседала грузная, приятливая жена писателя, Серафима Павловна. Лицо у нее было какое-то кукольное. Собирала несложное угощение, разливала по стаканам крутой кипяток.

Чтого только не было в «кукушкиной»! Стены — в книжных полках, а под потолком болтались на веревочках всякие ремизовские талисманы, «гишпенсты» — черти, трампы, рыбы кости, летучие мыши. На столе сидел подземный



АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧ РЕМИЗОВ Рисунок Я. Марселя, 1953 г. с автографом писателя

времени отрывался от бумаг, запечатывал конверт и к нему поглядывал на своих животных: все ли на местах? Животные мирно болтались на нитях, покачивались потихоньку, и Ремизов был счастлив. Или только притворялся, — был он не без хитрецки и так, до конца, и остался — неразгаданный.

Пока не потерял зрение, любуясь выходить. Прогуливался обычно по рю д-Отэй, доходил до лавки Суханова, — это был парижский вариант Елисеева для обедневших эмигрантов. Там иногда встречал Куприна, который забегал выпить рюмку водки и закусь с ломтем пирамочки, — хозяин лавки «при ветствовал русскую литературу... Или, завернувшись в самье жовописные свои кашавейки, отправлялся в редакцию «Последних Новостей» получить гонорар или узнать, — почему не печатают? Печатали его мало. Милоков не любил литературные чудачества Ремизова, а коммерческий директор Н. К. Волков пользовался этим и за непечатанное размечал пониженный гонорар, не по тарифу беллетристики... Однажды, получив деньги, мы спустились в кафе к Дюполю. Алексей Михайлович робко сидел за мраморным столиком, грел на бокале с горячим кофе свои озябшие руки и тихонько жаловался:

— Это ведь правда: меня не читают. И печатают только потому, что фамилия известная, — для коллекции. А читать — нет! И так уж повелось, меня всю жизнь люди не признавали. И когда вхожу в редакцию, чувствую: «Опять, думают, пришел»!

Иногда он присылал мне письма на цветной бумаге. На каждое письмо уходил добрый час, — оно не писалось, а расписывалось. Титульные буквы были всегда замысловатые, выводились они цветными чернилами, а дальше писал черной вязью. Сбоку рисовал картинку, некое подобие яшура, или самого себя в очках с хвостиком, или уж на худой конец прилепленную полоску серебряной бумаги для красоты. И подписывался замысловатая, ажурной работы, размашистая, тоже разновыцветными чернилами.

А сколько времени уходило на заготовку конверта! Ведь нельзя же президенту Великой и Вольной попросту заклеймить конверт. Нет, тут из старого преискуранта выискивался он какой-нибудь герб немецкого княжества, с башнями, шитами и королевскими лилиями. Гербом

запечатывал конверт и к нему поглядывал на своих животных: все ли на местах? Животные мирно болтались на нитях, покачивались потихоньку, и Ремизов был счастлив. Или только притворялся, — был он не без хитрецки и так, до конца, и остался — неразгаданный.

Пока не потерял зрение, любуясь выходить. Прогуливался обычно по рю д-Отэй, доходил до лавки Суханова, — это был парижский вариант Елисеева для обедневших эмигрантов. Там иногда встречал Куприна, который забегал выпить рюмку водки и закусь с ломтем пирамочки, — хозяин лавки «при ветствовал русскую литературу... Или, завернувшись в самье жовописные свои кашавейки, отправлялся в редакцию «Последних Новостей» получить гонорар или узнать, — почему не печатают? Печатали его мало. Милоков не любил литературные чудачества Ремизова, а коммерческий директор Н. К. Волков пользовался этим и за непечатанное размечал пониженный гонорар, не по тарифу беллетристики... Однажды, получив деньги, мы спустились в кафе к Дюполю. Алексей Михайлович робко сидел за мраморным столиком, грел на бокале с горячим кофе свои озябшие руки и тихонько жаловался:

— Это ведь правда: меня не читают. И печатают только потому, что фамилия известная, — для коллекции. А читать — нет! И так уж повелось, меня всю жизнь люди не признавали. И когда вхожу в редакцию, чувствую: «Опять, думают, пришел»!

Иногда он присылал мне письма на цветной бумаге. На каждое письмо уходил добрый час, — оно не писалось, а расписывалось. Титульные буквы были всегда замысловатые, выводились они цветными чернилами, а дальше писал черной вязью. Сбоку рисовал картинку, некое подобие яшура, или самого себя в очках с хвостиком, или уж на худой конец прилепленную полоску серебряной бумаги для красоты. И подписывался замысловатая, ажурной работы, размашистая, тоже разновыцветными чернилами.

А сколько времени уходило на заготовку конверта! Ведь нельзя же президенту Великой и Вольной попросту заклеймить конверт. Нет, тут из старого преискуранта выискивался он какой-нибудь герб немецкого княжества, с башнями, шитами и королевскими лилиями. Гербом

запечатывал конверт и к нему поглядывал на своих животных: все ли на местах? Животные мирно болтались на нитях, покачивались потихоньку, и Ремизов был счастлив. Или только притворялся, — был он не без хитрецки и так, до конца, и остался — неразгаданный.

Пока не потерял зрение, любуясь выходить. Прогуливался обычно по рю д-Отэй, доходил до лавки Суханова, — это был парижский вариант Елисеева для обедневших эмигрантов. Там иногда встречал Куприна, который забегал выпить рюмку водки и закусь с ломтем пирамочки, — хозяин лавки «при ветствовал русскую литературу... Или, завернувшись в самье жовописные свои кашавейки, отправлялся в редакцию «Последних Новостей» получить гонорар или узнать, — почему не печатают? Печатали его мало. Милоков не любил литературные чудачества Ремизова, а коммерческий директор Н. К. Волков пользовался этим и за непечатанное размечал пониженный гонорар, не по тарифу беллетристики... Однажды, получив деньги, мы спустились в кафе к Дюполю. Алексей Михайлович робко сидел за мраморным столиком, грел на бокале с горячим кофе свои озябшие руки и тихонько жаловался:

— Это ведь правда: меня не читают. И печатают только потому, что фамилия известная, — для коллекции. А читать — нет! И так уж повелось, меня всю жизнь люди не признавали. И когда вхожу в редакцию, чувствую: «Опять, думают, пришел»!

запечатывал конверт и к нему поглядывал на своих животных: все ли на местах? Животные мирно болтались на нитях, покачивались потихоньку, и Ремизов был счастлив. Или только притворялся, — был он не без хитрецки и так, до конца, и остался — неразгаданный.

Пока не потерял зрение, любуясь выходить. Прогуливался обычно по рю д-Отэй, доходил до лавки Суханова, — это был парижский вариант Елисеева для обедневших эмигрантов. Там иногда встречал Куприна, который забегал выпить рюмку водки и закусь с ломтем пирамочки, — хозяин лавки «при ветствовал русскую литературу... Или, завернувшись в самье жовописные свои кашавейки, отправлялся в редакцию «Последних Новостей» получить гонорар или узнать, — почему не печатают? Печатали его мало. Милоков не любил литературные чудачества Ремизова, а коммерческий директор Н. К. Волков пользовался этим и за непечатанное размечал пониженный гонорар, не по тарифу беллетристики... Однажды, получив деньги, мы спустились в кафе к Дюполю. Алексей Михайлович робко сидел за мраморным столиком, грел на бокале с горячим кофе свои озябшие руки и тихонько жаловался:

— Это ведь правда: меня не читают. И печатают только потому, что фамилия известная, — для коллекции. А читать — нет! И так уж повелось, меня всю жизнь люди не признавали. И когда вхожу в редакцию, чувствую: «Опять, думают, пришел»!

Иногда он присылал мне письма на цветной бумаге. На каждое письмо уходил добрый час, — оно не писалось, а расписывалось. Титульные буквы были всегда замысловатые, выводились они цветными чернилами, а дальше писал черной вязью. Сбоку рисовал картинку, некое подобие яшура, или самого себя в очках с хвостиком, или уж на худой конец прилепленную полоску серебряной бумаги для красоты. И подписывался замысловатая, ажурной работы, размашистая, тоже разновыцветными чернилами.

А сколько времени уходило на заготовку конверта! Ведь нельзя же президенту Великой и Вольной попросту заклеймить конверт. Нет, тут из старого преискуранта выискивался он какой-нибудь герб немецкого княжества, с башнями, шитами и королевскими лилиями. Гербом

запечатывал конверт и к нему поглядывал на своих животных: все ли на местах? Животные мирно болтались на нитях, покачивались потихоньку, и Ремизов был счастлив. Или только притворялся, — был он не без хитрецки и так, до конца, и остался — неразгаданный.

Пока не потерял зрение, любуясь выходить. Прогуливался обычно по рю д-Отэй, доходил до лавки Суханова, — это был парижский вариант Елисеева для обедневших эмигрантов. Там иногда встречал Куприна, который забегал выпить рюмку водки и закусь с ломтем пирамочки, — хозяин лавки «при ветствовал русскую литературу... Или, завернувшись в самье жовописные свои кашавейки, отправлялся в редакцию «Последних Новостей» получить гонорар или узнать, — почему не печатают? Печатали его мало. Милоков не любил литературные чудачества Ремизова, а коммерческий директор Н. К. Волков пользовался этим и за непечатанное размечал пониженный гонорар, не по тарифу беллетристики... Однажды, получив деньги, мы спустились в кафе к Дюполю. Алексей Михайлович робко сидел за мраморным столиком, грел на бокале с горячим кофе свои озябшие руки и тихонько жаловался:

— Это ведь правда: меня не читают. И печатают только потому, что фамилия известная, — для коллекции. А читать — нет! И так уж повелось, меня всю жизнь люди не признавали. И когда вхожу в редакцию, чувствую: «Опять, думают, пришел»!

запечатывал конверт и к нему поглядывал на своих животных: все ли на местах? Животные мирно болтались на нитях, покачивались потихоньку, и Ремизов был счастлив. Или только притворялся, — был он не без хитрецки и так, до конца, и остался — неразгаданный.

Пока не потерял зрение, любуясь выходить. Прогуливался обычно по рю д-Отэй, доходил до лавки Суханова, — это был парижский вариант Елисеева для обедневших эмигрантов. Там иногда встречал Куприна, который забегал выпить рюмку водки и закусь с ломтем пирамочки, — хозяин лавки «при ветствовал русскую литературу... Или, завернувшись в самье жовописные свои кашавейки, отправлялся в редакцию «Последних Новостей» получить гонорар или узнать, — почему не печатают? Печатали его мало. Милоков не любил литературные чудачества Ремизова, а коммерческий директор Н. К. Волков пользовался этим и за непечатанное размечал пониженный гонорар, не по тарифу беллетристики... Однажды, получив деньги, мы спустились в кафе к Дюполю. Алексей Михайлович робко сидел за мраморным столиком, грел на бокале с горячим кофе свои озябшие руки и тихонько жаловался:

— Это ведь правда: меня не читают. И печатают только потому, что фамилия известная, — для коллекции. А читать — нет! И так уж повелось, меня всю жизнь люди не признавали. И когда вхожу в редакцию, чувствую: «Опять, думают, пришел»!

Иногда он присылал мне письма на цветной бумаге. На каждое письмо уходил добрый час, — оно не писалось, а расписывалось. Титульные буквы были всегда замысловатые, выводились они цветными чернилами, а дальше писал черной вязью. Сбоку рисовал картинку, некое подобие яшура, или самого себя в очках с хвостиком, или уж на худой конец прилепленную полоску серебряной бумаги для красоты. И подписывался замысловатая, ажурной работы, размашистая, тоже разновыцветными чернилами.

А сколько времени уходило на заготовку конверта! Ведь нельзя же президенту Великой и Вольной попросту заклеймить конверт. Нет, тут из старого преискуранта выискивался он какой-нибудь герб немецкого княжества, с башнями, шитами и королевскими лилиями. Гербом

запечатывал конверт и к нему поглядывал на своих животных: все ли на местах? Животные мирно болтались на нитях, покачивались потихоньку, и Ремизов был счастлив. Или только притворялся, — был он не без хитрецки и так, до конца, и остался — неразгаданный.

Пока не потерял зрение, любуясь выходить. Прогуливался обычно по рю д-Отэй, доходил до лавки Суханова, — это был парижский вариант Елисеева для обедневших эмигрантов. Там иногда встречал Куприна, который забегал выпить рюмку водки и закусь с ломтем пирамочки, — хозяин лавки «при ветствовал русскую литературу... Или, завернувшись в самье жовописные свои кашавейки, отправлялся в редакцию «Последних Новостей» получить гонорар или узнать, — почему не печатают? Печатали его мало. Милоков не любил литературные чудачества Ремизова, а коммерческий директор Н. К. Волков пользовался этим и за непечатанное размечал пониженный гонорар, не по тарифу беллетристики... Однажды, получив деньги, мы спустились в кафе к Дюполю. Алексей Михайлович робко сидел за мраморным столиком, грел на бокале с горячим кофе свои озябшие руки и тихонько жаловался:

— Это ведь правда: меня не читают. И печатают только потому, что фамилия известная, — для коллекции. А читать — нет! И так уж повелось, меня всю жизнь люди не признавали. И когда вхожу в редакцию, чувствую: «Опять, думают, пришел»!

запечатывал конверт и к нему поглядывал на своих животных: все ли на местах? Животные мирно болтались на нитях, покачивались потихоньку, и Ремизов был счастлив. Или только притворялся, — был он не без хитрецки и так, до конца, и остался — неразгаданный.

Пока не потерял зрение, любуясь выходить. Прогуливался обычно по рю д-Отэй, доходил до лавки Суханова, — это был парижский вариант Елисеева для обедневших эмигрантов. Там иногда встречал Куприна, который забегал выпить рюмку водки и закусь с ломтем пирамочки, — хозяин лавки «при ветствовал русскую литературу... Или, завернувшись в самье жовописные свои кашавейки, отправлялся в редакцию «Последних Новостей» получить гонорар или узнать, — почему не печатают? Печатали его мало. Милоков не любил литературные чудачества Ремизова, а коммерческий директор Н. К. Волков пользовался этим и за непечатанное размечал пониженный гонорар, не по тарифу беллетристики... Однажды, получив деньги, мы спустились в кафе к Дюполю. Алексей Михайлович робко сидел за мраморным столиком, грел на бокале с горячим кофе свои озябшие руки и тихонько жаловался:

— Это ведь правда: меня не читают. И печатают только потому, что фамилия известная, — для коллекции. А читать — нет! И так уж повелось, меня всю жизнь люди не признавали. И когда вхожу в редакцию, чувствую: «Опять, думают, пришел»!

Иногда он присылал мне письма на цветной бумаге. На каждое письмо уходил добрый час, — оно не писалось, а расписывалось. Титульные буквы были всегда замысловатые, выводились они цветными чернилами, а дальше писал черной вязью. Сбоку рисовал картинку, некое подобие яшура, или самого себя в очках с хвостиком, или уж на худой конец прилепленную полоску серебряной бумаги для красоты. И подписывался замысловатая, ажурной работы, размашистая, тоже разновыцветными чернилами.

А сколько времени уходило на заготовку конверта! Ведь нельзя же президенту Великой и Вольной попросту заклеймить конверт. Нет, тут из старого преискуранта выискивался он какой-нибудь герб немецкого княжества, с башнями, шитами и королевскими лилиями. Гербом

запечатывал конверт и к нему поглядывал на своих животных: все ли на местах? Животные мирно болтались на нитях, покачивались потихоньку, и Ремизов был счастлив. Или только притворялся, — был он не без хитрецки и так, до конца, и остался — неразгаданный.

Пока не потерял зрение, любуясь выходить. Прогуливался обычно по рю д-Отэй, доходил до лавки Суханова, — это был парижский вариант Елисеева для обедневших эмигрантов. Там иногда встречал Куприна, который забегал выпить рюмку водки и закусь с ломтем пирамочки, — хозяин лавки «при ветствовал русскую литературу... Или, завернувшись в самье жовописные свои кашавейки, отправлялся в редакцию «Последних Новостей» получить гонорар или узнать, — почему не печатают? Печатали его мало. Милоков не любил литературные чудачества Ремизова, а коммерческий директор Н. К. Волков пользовался этим и за непечатанное размечал пониженный гонорар, не по тарифу беллетристики... Однажды, получив деньги, мы спустились в кафе к Дюполю. Алексей Михайлович робко сидел за мраморным столиком, грел на бокале с горячим кофе свои озябшие руки и тихонько жаловался:

— Это ведь правда: меня не читают. И печатают только потому, что фамилия известная, — для коллекции. А читать — нет! И так уж повелось, меня всю жизнь люди не признавали. И когда вхожу в редакцию, чувствую: «Опять, думают, пришел»!

(Окончание в следу-  
воскресенье)





